

Вспалаящий летний зной, от которого даже собаки скулили, старуха тангутка сидела около разведённого очага. Запах палёной шерсти разносился повсюду на радость местным мухам. Старуха держала на коленях червивую баранью голову, опаливая её раскалёнными щипцами для дров. Время от времени она баранью голову переворачивала, придерживая замызганными пальцами, под ногтями которых скопился толстый слой грязи. Пот градом катил с лица старухи, но она была всецело занята своим делом, недосуг было даже отодвинуть сползающий на лоб платок.

Её обиталище представляло собой ветхую лачугу, сооружённую из нескольких прутьев кустарника, соединённых между собой верхними концами и накрытых лоскутами всевозможных тканей, кусками войлочной подстилки, обветшалой подкладки от старой дэли (долгополая традиционная одежда), что были кое-как связаны обрывками волосяных верёвок и бечёвок.

Когда что-то тяжёлое бухнулось сверху на её лачугу, старуха сбросив на землю баранью голову, выскочила наружу, не выпуская из рук длинных железных щипцов и, закусив губу, заковыляла что есть мочи вслед за мальчиком, запустившем камнем в её обиталище.

Тут босоногий озорник издевательски показал старухе язык и пустился наутёк, сверкая растресканными пятками. Старуха схватила полную горсть земли и бросила вслед мальчику, извергая при этом проклятия, чтобы тот исчез за семью горами, сгинул за курганами, провалился сквозь землю, так чтобы её уши его не слышали, её глаза его не видели. «Падаль поганая», – выкрикнула она напоследок и заковыляла обратно в свою лачугу.

Старая тангутка принялась было снова опаливать баранью голову, но щипцы уже остыли и ей пришлось опять раскладывать кизяк, разводить огонь и раскалывать щипцы. И проклятия на бедную голову того мальчугана посыпались вновь: «Ну погоди, падаль поганая, не останется от тебя ничего, ни кусочка поклевать воронам, ни косточки чадящей». Наконец баранья голова, которую она отвоевала у бродячих собак на свалке сомонного центра, разварилась в котле так, что она могла жевать мясо своим беззубым ртом. Старуха принялась за еду, приправляя мясо диким луком. Словно зубами, своими тёмно-красными дёснами она отрывала от кости мягкую плоть и, шамкая, жевала её разъезжающимися челюстями.

В подобных житейских суетах старуха дотянула до осенних дней, когда начался забой скота.

В такое время земля, где забивали животных, становилась тёмно-красной от их крови. Там старуха и разживалась головами, конечностями, внутренностями животных, запасалась ими на зиму, чтобы было что бросить в желудок в холодное зимнее время.

Летом же она подкармливалась излишками борца – сушёного мяса и молочных продуктов, перепавших ей от добрых соседей. Но в летнее время люди лишь изредка закалывают баранов, поэтому ей приходилось и голодать. А когда ей уж совсем приходилось туго, она заходила в первую попавшуюся юрту, и ей выносили то пиалу пустого, без молока, чая, то горстку сушёного творога арула.

Но вся беда была в том, что, хотя старуха-тангутка никому ничего дурного не сделала, люди относились к ней с презрением. Особенно её донимали дети, да и она сама не выносила их, где бы они ей ни повстречались, осыпала их проклятьями. И даже когда кто-то приносил ей добрую весть, она отвечала примерно так: «Если это правда, пусть поседеют твои волосы, если это ложь, пусть побелеют твои кости».

Летом и осенью она собирала оставленный людьми для просушки кизяк. Когда её окликали, говорили, чтобы перестала воровать, отвечала в таком духе: «Это трава зелёной долины, это помёт бродячей скотины. Где на нём печать, что оно ваша, где на нём знак, что оно не моё? Есть ли там клеймо, которое сломалось, есть ли там метка, которая стёрлась?» Скажет подобное, наполнит свою плетёную корзину доверху, закинет за спину и, как ни в чём не бывало, заковы-

ляет прочь. И мало, как дневных звёзд, было местных ребятишек, которые, подрастая, не пробовали бы бросить камень на крышу её лачуги. Почему дети обзывали её ведьмой, почему она была для них словно соринка, попавшая в глаз, словно заноза, вонзившаяся под ноготь, никто толком не знал. Впрочем, она разве что не носила при себе амулет в виде черепа, а так и впрямь походила на ведьму, как это в сказках бывает. Бывало кто-нибудь сердобольный искренне посочувствует, пожалеет про себя: «Лучше бы она померла, нежели жить такой жизнью». Эта старая тангутка, как наглядное воплощение обездоленности, видимо была совершенно одинока на этом свете. Но ведь не появилась же она из ниоткуда, родилась же она от матери своей. Вот только бы не бросалась бранными словами, не ругалась бы беспрестанно. Никто не скажет, что она накликала на кого-нибудь беду, но особенно те, у кого малые дети, при наступлении сумерек отгоняли её подальше, береглись от беды.

Не было такого, кто ходил бы о двух ногах, носил бы голову на плечах да заглянул бы в её чёрную, как дыра, лачугу. Один только бродячий пёс этой осенью наведаясь к ней, да и тот обгрыз и распотрошил все припасённые ею бараньи головы и внутренности.

Так в невероятной бедности в маленьком поселении в Гоби коротала свой век эта старая женщина, прозванная Тангутка. Была она в здравом уме, но всеми воспринималась хуже всякой твари. И никто не знал, откуда она явилась, через какие радости и невзгоды она прошла. Если кто и ведал, может, не

хотел рассказывать, кто его знает. Ходили слухи, что она пришла из далёкой глухой тайги, что она злая шаманка. А если кто её пустит в темноте на порог своей юрты, околдует она его для любых недобрых дел, справное превратит в неисправное, доброе в злое. Поговаривали, что она и есть албин – чёртов огонь. И никто не знал, где здесь правда, где ложь, только никем не доказанные слухи были недобрыми.

В последние дни среднего месяца той зимы наступили жестокие холода. Закрылась школа сомонного центра, детей держали у себя в тёплых юртах, без особой надобности мало кто выходил наружу. Суровая зима угрожала бескормицей. И уже третье утро кряду не было видно дыма из трубы в лачуге старухи. В посёлке женщины начали перешёптываться, поползли тревожные слухи. Наконец, администрация сомона чуть-ли не по жеребьёвке назначила нескольких людей провести старуху. Так соседи впервые переступили порог лачуги, где жила Тангутка. Они сразу же увидели, что несчастная старуха уже отправилась в мир иной, её тело лежало у дверцы очага, всё засыпанное пеплом, закоченевшее, искаженное судорогой то ли от голода, то ли от боли или холода. Лишь при дуновении ветерка седые волосы пепельного цвета шевелились у неё на голове, как у живой, гримаса исказила её посиневшее лицо, затвердевшее, как железо, взгляд её голодных глаз, подёрнутых синевой, застыл, устрашающе вперившись куда-то вверх сквозь дымоходное отверстие лачуги, беззубый рот с красными дёснами

был широко раскрыт, как отверстие в преисподнюю. В таком виде она покинула сей мир.

Знать, суждено было этой старушке с далёкой чужбины сложить свои кости на их земле – решили люди и похоронили её честь по чести как свою близкую родственницу, хотя при жизни много плохого говорили о ней и косо поглядывали. Когда её передевали, меня грязные засиженные вшами лохмотья, у неё на шее обнаружили что-то мягкое, зашитое в кусочек кожи, наподобие талисмана. При внимательном рассмотрении люди увидели пучок волос маленького ребёнка. Оказывается, была эта ведьма Тангутка когда-то матерью, носила в утробе своей дитя, как говорят, отделила живую плоть от плоти своей. И каждый подумал, кому же принадлежал этот пучок волос, что как реликвию всю жизнь хранила старуха.

* * *

Старая шаманка Шанший после камлания объявила, что настало время выбрать новую шаманку племени, деву-удган. Хранительницей духа Бурхан тенгри было предначертано стать юной девушке, известной в далёком таёжном распадке как Высокая Тангутка, с густыми чёрными бровями, живым пронизательным взглядом, гибким телом, ловкой и быстрой в движениях. И сказала старая шаманка, обращаясь к своей преемнице: «Прохудился бубен мой древний, ослабло костлявое тело моё. Теперь тебе оберегать людей от бедствий приходящих, очищать от нечисти мирской, чтобы всем было во что одеться, чтобы всем было где приютиться,

чтобы у всех охота была удачная. Язык твой острый, ноги твои лёгкие, лик у тебя отважный, глаза у тебя зоркие. Умеешь предвидеть правильно, сказать мудро. От Неба полученный оберег тебе передаю, тебя от духов злых заклинаю».

Так 17-летняя девчушка – тангутка по воле высшего Неба и содействию рядом присутствующей старой шаманки была посвящена в деву-удган, хранительницу духа своих соплеменников. Раньше случалось ей, сиротке, чтобы как-то прожить, пить лишь воду из ручья и питаться мхами на скалах. Теперь же её неприятное жилище из сплетённых шестов, покрытых древесной корой, утеплили новыми оленьими и косульими шкурами, внутри расстелили большую шкуру лося, начала она нежиться под собольим одеялом, получила ездового оленя. Юная удган быстро освоила шаманское искусство. Когда призывала духов, сильным и чистым голосом распевала заклинания, от окружения земного полностью отстранялась, душой и телом уходила в камлание, била в кожаный бубен, скреплённый сухожилиями косули и освящённый хадагом (шёлковая материя, напоминающая шёлковый шарф, которую преподносят в знак почтения и религиозного поклонения), исполняла дивные высокие прыжки ритуального танца, при этом её умные и пронизательные глаза устрашающе сверкали. И отбрасывала она прочь всякое зло, приходящее на землю, голод и бедствия, грозившие людям. Стала она для соплеменников живым идолом, защитницей, поддерживающей дух племени.

Теперь лучшая добыча, наиболее ценные изделия, самые драгоценные меха клались к ногам шаманки, носящие голову склонялись перед ней, стоящие на ногах сгибались перед ней. Но была она рождена во плоти человеческой и оставалась она плотью человеческой. А плоть была женская, и, как случается издавна, на её женскую долю горя перепало вдоволь. Не так-то просто было ей отстраниться от обычной человеческой жизни, от мирских деяний и желаний. Возложили на неё тяжкое бремя – незавидная судьба быть посланницей Неба. Уже и юноши – ровесники возмужали, и девушки – ровесницы расцвели. И печалилась она глубоко, когда юноши, отправляясь на дальнюю охоту, испрашивали у неё благословения и удачу, но видели в ней не девушку, а посланницу Неба, смотрели на неё взглядами, полными покорности и смирения.

– Ну просто взять бы и завожжить их, чтобы они на неё мужскими глазами смотрели, как на женщину, – такая закрадывалась порою мысль.

В тот зимний день, когда молодая тангутка, отправляя молодёжь на охоту, испрашивала удачу у высшего Неба под ритуальным деревом, она почувствовала на себе взгляд необычно сверкающих глаз, отличавшийся от всех остальных. Глаза продолговатые и коричневые, как у волка, выражали вовсе не религиозное преклонение, они горели нескрываемым вождением, страстным желанием. В полном замешательстве, с испугом она отвела свой взор.

Обратилась она к духам своим, чтобы простили они её, чтобы

священное Дерево-мать помогло вырвать из её сердца тот жгучий взгляд. Долго истово молилась, наконец пришло хоть какое-то успокоение, душевное равновесие. Вечером легла она под своё соболье одеяло, прикрыла веки. Можжевельник в очаге разгорался, наполняя жилище ароматом. Вдруг полог чума распахнулся, вихрем ворвался морозный воздух тайги, и вместе с ним влетел, как изголодавшийся орёл, тот самый юноша со сверкающими глазами. Глаза его источали такую жгучую мужскую силу, словно у этого юноши по венам текла не кровь, а бежал огонь. И крепкая рука молодого охотника плотно обхватила гибкий стан тангутки, столь искусной в шаманских танца.

Не смогла девичья душа шаманки оттолкнуть пышущую жаром грудь юного охотника, грудь, в которой билось такое буйное сердце, что безрассудно посягнуло на деву-удган, хранительницу духа всего племени.

— Ты можешь быть шаманкой для тех, кто тебя таковой почитает, для меня ты та, с которой вместе волокли хворост через снежные сугробы, та, с которой вместе росли и играли, ты — моя черноглазая лань. Не твоему духу я поклоняюсь, а склоняюсь перед твоими прекрасными очами. Много ночей я провёл в молитвах у Дерева-матери, испрашивая тебя. И велело Дерево-мать, чтобы я сегодня ночью пришёл к тебе.

И с той ночи больше никто его не видел. Освободился он от душевного и телесного томленья, а свою шаманку обрёк на пожизненные страдания. Ушёл он в леса, бродил по горам и скалам, пока не

превратился в человека-медведя, так и след его где-то сгинул. Как бы шаманке ни хотелось, как бы она ни тосковала, не решилась она с помощью духов позвать душу дерзкого парня, так бесстрашно посягнувшего на неё — хранительницу духа, и от того погубившего себя самого. Этот единственный случай в её жизни стал звездой которая промелькнула на небосводе, озарила на мгновение её жизнь и исчезла бесследно.

С тех пор тангутская шаманка ни разу не смотрела в глаза мужчинам. И поклялась она самой себе, что, несмотря на всю несправедливость, ей доставшуюся, пронесет по жизни уготованную ей долю, не проронив ни слезинки, с твёрдою душою, с каменным сердцем, к смерти и жизни отнесётся равнодушно, будто бы она не от матери родилась, а от обрыва оторвалась, будто бы не отцом зачата, а от скалы откололась.

Пришло время родов, и хотя соплеменники догадывались, но вслух поостерегались высказываться. Потому говорили, что молодая шаманка зачала дитя от небесного юноши. И стала молодая шаманка матерью с сердцем из красного камня. Родился у неё сыночек, с которым вряд ли кто сравнится по красоте, с челом ясным, как луна в полнолуние, с чёрными миндалевидными глазами, излучавшими необыкновенный мягкий свет, и впрямь дарованное Небом.

Казалось бы, до единственного сына, ни с кем не сравнимого на земле, невозможно было дотронуться замасленными руками или усадить на пыльную землю. Но когда мальчик подрос, стала

Тангутка частенько побивать его, ничуть не жалея. Лупила так, словно и вправду имела каменное сердце. Люди, видя это, тихо шептались, сокрушаясь над несчастной долей славного мальчика. Да разве найдётся кто-либо, который осмелится порицать саму шаманку. Но кто мог знать, что поступала так шаманка-мать, ибо узнала от духов своих, что настанет неизбежный час, который низвергнет её в пропасть бездонного горя. Случалось, были дни, когда от душевной боли готова была положить руку на единственного сына, лишь бы уберечь его от грядущих мучений, лишь бы убавить предстоящие ему страдания на этом свете. Но затем, по избиении сына, падала ниц перед Деревом-матерью в страстном покаянии, разрывалось её сердце от превеликой жалости, с глубокой нежностью обнимала сына, топила в бездонном море материнской ласки, вся источалась любовью. Не становилось легче от мыслей о том, что всё в этом мире преходяще, что у любого со временем волосы выпадают, глаза выцветают и всякий смиряется перед тленностью мира сего, всё равно душа не примирялась с мыслями о безысходности. Смотрела на сына застывшим взглядом, смешанным с отчаянием и любовью, ночи напролёт баюкала под сердцем, боялась, как бы не запятнали его лицо лунные блики, даже от мирного дыхания ночи берегла его сон. Надрывалась от тщетных дум, как уберечь сына от горестей, выпадающих на людскую долю. Не сравнить ни с чем страдания матери по своим детям. Но ещё страшнее удел для матери-шаманки не только угады-

вать горькую участь сына, но ясно предвидеть, какой именно ужасный конец уготовила ему жестокая судьба.

Если бы она не была признана тангутами посланницей Неба — Хранительницей духа племени, пусть даже питаюсь мхом со скал, запивая родниковой водой, укрываясь в ветхом чуме, пусть худо-бедно жила бы сама по себе, без нынешней шаманской неволи, была бы рядом с тем охотником, который так бесстрашно распахнул полог её чума, жила бы, как подобает всякой обычной женщине. Много было чумов, в которых подрастали и расцветали девушки, но тот дерзкий охотник, обуянный страстью, осмелился овладеть самой шаманкой. Не будь она шаманкой, остался бы сейчас среди соплеменников, поставил бы собственный чум, и вился бы дымок из его родного очага. А она вместо того чтобы камлать, заклинать удачу, возносить просьбы и ниспосылать проклятия, распевала бы сердечные песни любви, которые звенели и расходились по всей тайге. Не было бы теперешних мучений о судьбе единственного сына.

В таёжном распадке подрастало новое поколение, выросли девушки и юноши, трудно представить, что они были когда-то малыши деткишками, а среди молодёжи, притягивая замороженные взгляды девушек, рос красавец-сын шаманки.

В то утро с большого зимнего промысла возвращались охотники с богатой добычей, они принесли много разной пушнины, особо выделялись меха соболей и куниц. Среди охотников был и сын Тан-

гутки, за поясом у него торчал нож с берестяной рукояткой, а глаза его мужественно сверкали. Целый охотничий сезон Тангутка не видела его, а увидев, едва не потеряла сознание. Перед ней стоял тот самый охотник, который лет двадцать назад смотрел на неё голодными волчьими глазами и который дал ей испробовать краткий миг земной улады, а потом растворился в небытии, словно и не было его вовсе. «О Небо!» – вскрикнула шаманка. Она зажмурилась, а затем медленно приподняла веки – перед ней стоял её возмужалый сын.

Мой сын, ты стал взрослым мужчиной, ну вылитый отец – вырвалось из её уст.

– Что вы сказали, мама, какой отец?

– Да, мой сын, ...как твой небесный отец, – ответила она и примолкла.

И как дурное предзнаменование на другой день после возвращения охотников юноши, среди них и её сын, были призваны на войну, которая разразилась где-то далеко на востоке.

С тревогой и печалью таёжные жители провожали своих мужчин на войну. Перед тем как уйти, они поклонились Дереву-матери, прося благословения, а шаманка совершила ритуальный обряд, приободив дух молодых охотников.

Наступило благодатное лето. Повсюду пестрели цветы, созревали ягоды, кругом слышалось птичье пение. Шаманка продолжала ревностно выполнять ритуалы, благодарила Небо за то, что Оно охраняет судьбы тангутских детей. У соплеменников росла надежда о благополучном возвращении своих людей, бодростью

наполнялись их сердца. Но случилось так, что пришли однажды чужаки издалека покупать пушнину и лисьи меха. Они погостили в чумах, поделились новостями из дальних мест, а когда пустились в обратную дорогу, натворили беду – по пути собрали плоды со священного материнского Древа. На следующую после такого кошмара ночь облака, клубясь и бурля, понеслись по небу, как чёрный дым, всё вокруг загрохотало так, что казалось, сама гора Сумэру вот-вот расколется и обрушится. Пошёл град, будто звёзды посыпались с неба.

Тангутка камлала в своём чуме, люди, рассевшись вокруг, затаив дыхание суеверно внимали ей.

О, священная гора Хайрхан,
Укрепи во мне путь мой
праведный,

Укажи мне мой путь лучезарный,
Буду ли в потёмках – светом озари,
Буду ли спотыкаться –
опорой подсоби!

Всевышние Духи мои,
Затерявшемуся судьбу оберегая,
Заблудившемуся дорогу указуя,
Мой жребий вытяните мне,
Мою участь поведайте мне,
Если виновна, прошу исправленья,
Если я грешна, прошу очищения,
Помилуйте, Горы священные!
Словно птаха, потерянная

в тумане, дрожу,
Словно лань, утерянная в лесу,
трепещу,
Лишилась сна, чтобы поспать,
Лишилась спины, чтобы прилечь,
От стужи синею, от жары засыхаю,
Опираюсь на челюсть, ползу на коленях,
Не вижу леса, глаза напрягая,
Не сглотну простоквашу,
рот разевая,

ми, словно искромсанные руки и ноги. Никогда ей не приходилось выходить из тайги на равнину, покидать лес, выходить в степи. Не взяла она с собой в дорогу ни ножичка, ни колышка.

Видя страдания старой женщины, сова глумилась издевательским смехом так, что всё её тело заходило в судорогах, а скалы и утёсы вокруг гулко вторили крику совы насмешливым эхом.

Сиротливая ива, как кол земной торчащая на лесной прогалине, казалось, вторила одинокой судьбе Тангутки. А Дерево-мать, которому поклонялись как живому, весной, словно женщина, набухало плодами, летом расцветало, осенью плакало жёлтыми листьями, лишаясь плодов, сорванных безжалостным холодным ветром, зимой стояло под тяжестью грустных дум, глядяваясь вдаль, куда на охоту ушли её сыновья. Далеко превосходило Дерево-мать обычные деревья и по высоте, и по широте раскинувшихся ветвей. Бывало, взбирались на него люди, заблудившиеся в тёмной таёжной чаще, или карабкались в последний миг, спасаясь от диких зверей. А при первых лучах солнца заснеженная верхушка Дерева-матери призывно серебрилась и сверкала, выручая многих людей.

Теперь не стало ни ивы, предохраняющей от заблуждений, ни Дерева-матери – покровительницы племени.

Старая Тангутка исходила целый свет, пока не добралась до просторной долины, израненной и исковерканной взрывами, кипевшей огнём и кровью, как это показывали духи. Но как она ни старалась, не отыскался её

сын. Отказалась она там от своих шаманских духов, побрела, не разбирая дороги, туда, куда ноги повели. И всё время ей виделось и слышалось, как корчится её сын от смертельных ран, как мучительно взывает к Бурхан-тенгри, к Дереву-матери, к матери своей. И думалось Тангутке, что лучше было бы ей при помощи магии своей ещё малолетним послать его на небеса, избавляя от предстоявших земных мучений. Шатаясь и раскачиваясь, брела старая женщина, то падая навзничь, то падая ничком, шла вперёд, не оборачивалась, туда, где в мерцающем воздухе сходились небо с землею, видимо, стремилась уйти к небу. И неизвестно было, в своём ли она уме или вовсе выжила из ума. Как-то раз, обессилевшая до невозможности, упала она где-то, да так и осталась в той местности. Превратилась в скиталицу заблудшую, нищенку бездомную. Была теперь изгоем, человек не посмотрит, собака не приняхается. Иногда, бывало, привидится ей, как где-то далеко она посвящается в шаманки, иногда приснится Дерево-мать, расцветающее и плодоносящее. Проснётся после такого сна и горюет, что не уснула навсегда, что снова пробудилась. Сколько бы ни жаждала возвратиться в родные края, не посмеет она смотреть в глаза соплеменникам, вверившим свои судьбы её духам, людям, которые благоговейно внимали её камланиям, подчинялись её словам как небесному закону. А она бросила их на произвол судьбы и тёмной ночью по-воровски ушла, постыдно сбежала, возвысила своё собственное горе надо всем остальным. Теперь она молилась

о том, чтобы после того, как она отойдёт в мир иной, её душа вернулась в таёжный распадок, чтобы переродиться пищей, если соплеменники будут нуждаться в еде, или целебным зельем, если будут нуждаться в лечении.

Горюя и скорбя о непрочности людского бытия, добралась она до широких просторов гобийской степи, но удалось ли ей там найти хоть малую толику утешения? Была она шаманкой, но имела обычное сердце, как у всех людей, потому носила при себе обожествлённую прядь волос единственного – плоть от плоти, кровь от крови – сына, только выпала ей горькая материнская доля. Может поэтому, людское веселье и смех воспринимались ею как насмешка над страждующими и обездоленными. Может поэтому, не сдерживалась, осыпая людей проклятиями, чтобы как-то облегчить свою обиду. Кто знает?

* * *

Там и теперь запрещена охота, и звери не боятся людей.

По преданию, на одной из этих вершин пятьсот лет назад сидела огромная птица Гаруда, а в долине лежал змей. Птица предсказала, что сюда через северные горы придут люди, схватила змея и унесла. Люди пришли. После разорения Каракорума город – его название до революции было Их-Хурэ (Урга) – стал новой столицей Монголии.

Прямо на газоне, в двадцати шагах от шоссе, пасутся олени. Нам поясняют: «Дикие, спустились с гор!» Олени при виде машин даже ухом не ведут... Но вот пошли кубы, кубики, тяжелые колоннады, бетонный Чойбалсан и, наконец, гостиница. Можно вымыться и спать. Но не спится! Пять часов разницы не дают уснуть, и я встаю, переполошив дремлющего дежурного.

*Перевёл с монгольского языка
на русский С. Эрдэмбилэг.*

«Монголия Сейчас»